



МАТИАС ФАЛДБАККЕН

Ресторан “Хиллс”

CORPUS

Северный Уэльбек. Один из самых важных и значительных писателей Скандинавии.

Sebastian Wittrock, POLITIKEN

Матиас Фалдбаккен
Ресторан «Хиллс»

«Corpus (ACT)»

2017

УДК 821.133.5-31
ББК 84(4Нор)-44

Фалдбаккен М.

Ресторан «Хиллс» / М. Фалдбаккен — «Corpus (ACT)», 2017

ISBN 978-5-17-106999-5

«Ресторан „Хиллс“» прежде всего очень изящный, неожиданный, глубокий и тонкий роман о разрушении вековых структур. Главный герой служит официантом в легендарном старинном ресторане в центре Осло, очень этим гордится и старается во всем следовать полуторавековым традициям. У него дар все видеть, слышать и анализировать. За стенами ресторана прошла одна мировая война, затем вторая, почти никак не изменив уклад заведения, описанный в романе виртуозно, со всеми запоминающимися подробностями. Изо дня в день наблюдая за гостями, герой невольно втягивается в непростые отношения между ними. Матиас Фалдбаккен не просто мастер стиля, он владеет всем комедийным регистром, от фарса до мягкой иронии, умеет все довести до абсурда, а его талант наблюдателя, умение любоваться деталями создают очень странную атмосферу романа: стабильность и постоянство оказываются не менее хрупкими, чем манкирование правилами.

УДК 821.133.5-31

ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-17-106999-5

© Фалдбаккен М., 2017

© Corpus (ACT), 2017

Содержание

Часть I	6
Хрюшон	7
Блез	10
Стены	13
Молодая дама	15
Каждое утро	19
Часть II	22
Эдгар и Анна	22
Кофе	24
Глазные яблоки	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Матиас Фалдбаккен

Ресторан «Хиллс»

Published by agreement with Salomonsson Agency

Издание осуществлено при поддержке Norla (Norwegian Literature Abroad)
This translation has been published with the financial support of NORLA

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Иллюстрация на обложке Дженни Кит

© Matias Faldbakken, 2017

© Jenny Keith, cover image

© А. Ливанова, перевод на русский язык, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Издательство CORPUS®

* * *

Посвящается Иде

Часть I

Пуганая собака жирка не нагуляет.
(Норвежская пословица)

Хрюшон

Ресторан «Хиллс» существует с тех еще времен, когда свинья была свиной, а хрюшка хрюшкой, любит говаривать наш метрдотель, Мэтр; иными словами, с середины XIX века. Вот я тут стою в своей форме официанта, вытянувшись в струнку, и вполне мог бы стоять так сотню лет назад, а то и раньше. Взрослые люди ежедневно совершают рискованные поступки, но я – нет.

Я обслуживаю. Я прислуживаю. Двигаюсь по залу, принимаю заказы, наливаю и убираю. У нас в «Хиллс» люди могут полностью погрузиться в дышащую традициями атмосферу. Они должны ощущать, что им рады, но не чувствовать себя настолько вольно, чтобы забыть, где находятся. Впрочем, есть и исключения – отдельным посетителям позволено вести себя в нашем заведении, как в собственной гостиной. Хрюшона, одного из завсегдатаев (кстати о свиньях), в половине второго по будням ждет постоянное место – столик 10 у окна. Обычно Хрюшон является точно в свое время, но сейчас уже 13.41, а его все еще нет. Проходя по залу, я описываю изящную петлю и выглядываю в холл, но и там никакого Хрюшона не наблюдается. Гардеробщик Педерсен поднимает глаза от газеты. Вид у Педерсена, как говорится, аристократический; он в этой жизни чего только не видел. Посетители сдают ему на хранение свои вещи (куртки, пальто, сумки, зонты), получая взамен номерок, который они возвращают, приплюсовав немного мелочи, и получают эти свои вещи назад, завершая визит. Такие транзакции Педерсен сдержанно, со вниманием и гордостью осуществляет из года в год; свою работу он выполняет на совесть. Все мы тут, в «Хиллс», стараемся как можем. В таком месте старание необходимо. Старание и забота неразделимы, я в этом абсолютно уверен.

Ланч уже в разгаре, основной зал заполнили представители верхнего среднего класса: кожа гладкая, речь плавная. Одежда элегантная. Ближе ко входу стоит ряд небольших столиков с классическими для кафе мраморными столешницами. На этом пятачке шумят сильнее. Столы на отдалении от входа накрыты скатертями. Позвякивает посуда, но все звуки приглушены. Столовые приборы движутся по фарфору, затем взмывают ко рту. Зубы перемалывают, гортань приподнимается и опускается, глотая. Тут у нас главное – питание, и я создаю условия для него. Сам я никогда здесь не питаюсь. Я наблюдаю за поглощением пищи. Между восприятием вкуса ядерного шевра «пикодон», вызывающего гастрономический фейерверк в полости рта, и наблюдением за губами вкушающего этот шевр дистанция немалого размера. По континентальному обычаю, я выставляю на каждый столик как можно больше посуды. Свободного места почти не остается, но я нахожу возможность втиснуть еще несколько бокалов, десертных тарелочек, еще бутылочку. Создается впечатление изобилия и богатства.

Не особенно большая, но тяжелая люстра, подобно хрустальному мешку или кошёлке, свисает с низкого сводчатого потолка над круглым столом в центре помещения. Размером она со среднюю торбу. Всмотревшись, разглядишь на полу почти стершуюся мозаику, уложенную концентрическими кругами. Деревянный декор выполнен с большим тщанием, отполирован дотемна прикосновениями ладоней. Одну стену целиком занимают два великолепных зеркала. Отражающий слой с обратной стороны стекла кое-где потрескался, образовав благородную патину. Дубовые рамы, в форме которых ощутим югендстиль, были смонтированы в 1901 году. Это мне Шеф-бар рассказала, расцветив историю подробностями о том, как заготовки доставили с Экебергского холма на повозке, в которую была запряжена лошадь самого Фрица Таулова. Шеф-бар – ходячая энциклопедия нашего заведения, лицо у нее профессорское, только доброе, у профессоров таких не бывает. От ее взора никакая мелочь не ускользнет.

«Хиллс» напоминает венское кафе, но расположен не в Вене. Похож он и на европейские гранд-кафе, но чуть более обветшал, чуть сильнее износился и чуть не дотягивается до истинно европейского великолепия. Само помещение и расположенное в нем заведение суще-

ствуют под вывеской «Хиллс» уж скоро 150 лет. Название образовано от фамилии основателей – семьи Хилл, которая с 1846 года владела располагавшимся в здании магазином готового платья. Шеф-бар все об этом знает. Глава семейства, Бенджамин Хилл, легендарный денди с трагической судьбой, перебрался сюда из английского Виндзора, профукал две трети фамильного состояния и потерпел оглушительное банкротство, закончившееся для него попыткой самоубийства и последующей инвалидностью. Помещение отошло предпринимателю, открывшему в нем ресторан под названием «Ла Гренада», но прежняя вывеска из свинцового стекла, занимающая значительную часть фасада и намертво к нему прикрученная, была столь дорогостоящей и искусно исполненной, что пришлось оставить ее *in situ*¹; в народе, как и можно было ожидать, заведение продолжали называть «Хиллс». Разворотливый сын Бенджамина Хилла вновь выкупил помещение, принял на себя руководство рестораном и восстановил название, под которым он был основан. «Хиллс» и по сию пору остается семейным заведением.

С гнутой латунной трубки, смонтированной над входной дверью, ниспадают две плотных суконных портьеры, края которых, дабы не обтрепались, подшиты телячьей кожей. Портьеры защищают от сквозняка. Из-за этих портьер, хиллсовского портала, или, если хотите, из-за сценического занавеса, появляется, наконец, Хрюшон, улыбается, кивает. Времени уж скоро без десяти, то есть на грани допустимого. Я не улыбаюсь и не киваю в ответ. Официантам дано распоряжение не делать этого. Я по натуре неулыбчив и не любитель кивать. Мне не требуется специально напрягаться, чтобы следовать инструкции: встречайте посетителей с непроницаемым, но услужливым выражением на лице. Бесстрастная мина – составная часть профессии.

– Пришлось задержаться, сожалею, – говорит Хрюшон извиняющимся тоном, слегка подхихотнув; не прихрюкнув, а как бы заржав. Как назвать ржание осла? Вскрик? Смех Хрюшона похож на пронзительный вскрик. Мне не раз приходила в голову мысль, что Хрюшон, в переносном смысле, осел, каким мы его знаем из европейской мифологии и литературы – то есть не древнегреческим «упрямым и глупым», а библейским «надежным и преданным». Но сейчас он, выходит, надежности не продемонстрировал.

– И сколько нас будет сегодня?

– Четверо вместе со мной, – говорит Хрюшон.

– Остальные уже в пути?

– Полагаю, что так.

Одеваться можно по-разному. Хрюшон избрал единственно приемлемый стиль: безупречный. Он постоянно появляется в новых костюмах, и, судя по покрою, качеству шитья и тканей, костюмы эти созданы руками портных на Сэвил Роу или близ того. Разменявший седьмой десяток, облаченный каждодневно в подобные наряды, он являет собой образчик представительного мужчины и достойного клиента. Хрюшон для «Хиллс» идеальный посетитель. Вот почему мы позволяем ему выходить за рамки допустимого в том, что касается количества резервируемых мест. Хрюшон не испытывает недостатка в средствах, это сразу видно, но и не любит привлекать к себе излишнего внимания. Регулярно, но без ажиотажа, выказывая неизменную любезность, неизменную безупречность наряда и манер, он привлекает в «Хиллс» все новые лица, все новых знакомых, приглашая их преимущественно на ланч, иногда на обед.

– Для вас как обычно столик у окна, – говорю я, рукой показывая путь, прихватываю четыре меню и сопровождаю его по залу. Отточенными движениями я отодвигаю для него стул, произношу привычную формулу: – Воды, пока изучаете меню?

– Да, будьте добры.

И разворачивается спиной, что позволяет мне аккуратно подвести стул к сгибам его подколенных впадин. Голову Хрюшона обрамляет мощная грива седых волос, которую он укрощает, еженедельно подравнивая. Седина появилась у него, когда ему не было еще и тридцати,

¹ На месте (*лат.*)

он тогда строил карьеру во Франции, где и получил прозвище Крюшон – «графинчик», потому что всегда заказывал себе графинчик белого бургундского. По возвращении в Норвегию Крюшон тут же превратился в Хрюшона. Брови у него все еще черны и придают его лицу то ли интеллигентное, как у Каstellи, то ли собачье, как у Скорсезе, выражение.

Блез

За роялем, установленным на антресолях, сидит наш пианист старик Юхансен и всматривается в пространство куда-то слева от себя, в направлении сводов потолка. Тупоконечные, какие-то (римско-)папские пальцы легкими движениями, но с тяжелой покорностью привычной рутине бегают по клавишам, извлекая из них неприметно перетекающие одна в другую мелодии. Годится ли эта музыка для застолий? Наш Юхансен выбирает великих композиторов, но тем не менее это застольная музыка. Порой, не прекращая рассыпать несущиеся в зал звуки, он прикрывает глаза. Старый колобок Юхансен. Голова плавно клонится к плечу, кажется, он задремал на секунду, но тут он встряхивает головой, глаза открываются. И так он шпарит часами, без остановки. Уже с полтора поколения он сидит, крутя головой, на антресолях, под самым потолком, и каждый день сплетает звуки в ласкающие слух посетителей мелодии. Нам редко удастся перекинуться словечком, поскольку рабочий день у нас начинается в разное время, но, говорят, он умеет ядовито пошутить.

На полках невысокого стеллажа, стоящего между двух колонн в центре зала, сложены сгибом наружу, чтобы легче было считать, салфетки. Сверху на стеллаже установлена застекленная ширмочка; на стеклах едва проступает, как и положено в стиле югенд, узор. Ширма разгораживает двенадцатый и восьмой столики. Если у меня выдается свободная минутка, я рад прогуляться до стеллажа с салфетками и, скрытый от глаз публики ширмой, сложить их поаккуратнее. Ванесса работает у нас не так давно и немножко халтурит с этим. Я слежу за тем, чтобы вензель «Хиллс» на салфетках располагался в правом дальнем углу и был обращен кверху.

– Что, найдется сегодня белое бургундское? – спрашивает Хрюшон.

– Разумеется.

Прежде чем задать следующий вопрос, я из вежливости пропускаю два такта; впрочем, ответ мне и так известен.

– Бокальчик, или возьмем бутылочку?

Хрюшон размышляет с минуту.

– Пожалуй, бутылочку.

Внезапно он встает, я едва успеваю выдвинуть из-под него стул. Он протягивает руки навстречу стильной паре, пробирающейся к нам между столиками.

– Блез! (он произносит, Блес!) – с энтузиазмом восклицает Хрюшон.

А затем зачарованно: – Катарина.

Блез Энгельберт муж Катарина, Катарина жена Блеза. Это ближний круг Хрюшонова общения, особенно Блез. Блезам достались зрелые версии друг друга, как любит формулировать Шеф-бар; пожалуй, несправедливо было бы назвать это старыми версиями, говорит она. Чтобы найти друг друга, каждому из них пришлось проделать долгий окольный путь через светские круги Осло (в чем бы это ни проявлялось), и теперь каждый из них, продолжает иногда Шеф-бар, старше, чем все их бывшие пассии и возлюбленные.

Катарина идет первой, ставя одну ногу перед другой таким образом, чтобы ее хорошо сохранившаяся фигура сорока трех – сорока пяти лет от роду решительно двигалась в направлении Хрюшона. Блез, будучи старше жены какими-нибудь семью годами, следует на шаг позади, облаченный в серый костюм, качество которого не уступает Хрюшонову, а возможно, чуть превосходит его. Шаг Блеза пружинист, на шее повязан превосходный галстук.

Элегантность – вот слово, которое всегда носится в воздухе вокруг этого человека. Позади них семеню я, отодвигаю стулья и получаю подтверждение, что они желали бы, чтобы в бокалы им были налиты вода и вино (ради этого никому из них не пришлось проронить ни словечка).

Меню у нас выглядит вполне по-французски, оно деликатно отпечатано слегка разреженным Бодони. Вот слова, фигурирующие на двух густо исписанных страницах: шкварки, морской язык, козлятина, голубая плесень, римский тмин, профитроли, топинамбур, тарталетки, буйабес, каракатица, икра ряпушки, финик, лопатка, рийет и кит-полосатик. На любое из этих и еще многих других слов можно показать пальцем, и шеф-повар с помощниками со знанием и умением приготовит это, а затем я или, к примеру, Ванесса вынесем блюда в зал и наши клиенты отправят их себе в рот кусочек за кусочком. И трюфели тоже можно заказать. Трюфель – это вершина всего.

Ванесса – относительно неопытная официантка с нежной внешностью и короткой мальчишеской стрижкой; талант Ванессы стреножен амбициями. Она расправляет скатерти, я же, прохаживаясь по залу, то подливаю в бокалы там, то обихаживаю клиентуру сям. Бедняга актер, которого недавно поймали на подделке документов, просит добавить, а его глазные яблоки уже приобрели заметную водянистость. Предоставив сотрапезникам Хрюшона минуточку на изучение меню, я возвращаюсь ровно к тому моменту, когда требуется разлить воду по бокалам. Не успеваю я задать вопрос, как Блез не колеблясь отменяет белое бургундское. Он делает несколько долгих глотков воды, и я немедленно доливаю ее до нужного уровня. Теперь он показывает, что можно налить вина. Всякий раз, подлив в бокал, я слегка поворачиваю бутылку по часовой стрелке, чтобы подхватить последнюю каплю. Тактично склоняюсь над плечом Хрюшона и в мягкой форме интересуюсь, будем ли мы дожидаться последнего, четвертого сотрапезника. Хрюшон смотрит на наручные часы.

– Ничего от нее не слышно? Времени уже 14.03. Мы уже полчаса ждем.

Блез с женой качают головами.

– А она обещала? – говорит Блез.

– Разумеется, – говорит Хрюшон. – Разумеется.

У Блеза удлинённый моложавый затылок. Он тянет шею, вглядываясь в сторону входа. Линия роста волос четкая, угол наклона носа и бровей, изгиб скул с отточенной ритмикой повторяют линию роста волос, плавно опускающуюся от виска к уху. Шея мальчишеская, несмотря на возраст, взгляд живой. Образуя элегантную складку, воротничок рубашки на 6–7 ласкающих глаз миллиметров отступает от кожи на затылке. Блез мускулист, но не перекачан, он в тонусе, но не напряжен. Когда он говорит, почти что шепотом, Катарина и Хрюшон наклоняются к нему поближе. У Блеза необычный голос. Можно было бы ожидать надменного нажима, такое часто слышишь из уст красивых, чуть ли не напыщенных мужчин; его же речь звучит уверенно, авторитетно, но дружелюбно, даже, пожалуй, чувственно.

– Желаете подождать немного? – говорю я, стараясь избежать настырности в голосе.

Хрюшон снова вглядывается на циферблат, Блез тоже приподнимает левую руку и встряхивает ею, обнажая часы на запястье. Выясняется, что это шикарный экземпляр от А. Ланге унд Зёне, неужели же элитные «Гранд Ланге 1»? Капельку франтоватости у него, у Блеза, не отнимешь.

– Можете принять заказ, а кто задержался, тот... – говорит Хрюшон, намекая знаками сначала одной, затем другой руки, что заказ придется позднее откорректировать. Я вперяюсь взглядом в жену Блеза, давая понять, что она может начинать. Катарина выбирает салат-меш с козьим сыром «Монте Энебро», орешками, зернышками и заправкой из гранадиллы.

– Можно мне побольше орешков и зернышек? – говорит она.

– Побольше орешков и зернышек, – повторяю я.

Прежде чем остановиться на густом ризони с виноградным луком, Блез успеваает дважды передумать. Такая переборчивость, очевидно, несколько коробит Хрюшона – очевидно для меня, не для Блеза с супругой. Я поворачиваюсь к Хрюшону. Теперь его черед. Он не спешит с выбором.

– А вот эта ваша форель из Валдреса... – говорит он.

- Да?
- К ней какой пресный хлеб пойдет лучше, что вы посоветуете?
- У нас есть хемседальский пресный.
- Ну пусть.
- И у нас есть к ней великолепный сметанный соус-дип, – произношу я, опустив и снова подняв согнутый крючком указательный палец в качестве иллюстрации к «дипу». Что это со мной такое?
- Да нет, спасибо. Мне, пожалуйста, без дипа. Форель так форель.
- Отлично.

Стены

Над панелями, которыми обшиты по периметру стены «Хиллс», висят бесчисленные портреты, рисунки и живописные полотна; под ними на протяжении десятилетий наклеивались всяческие бумажки. У нас это можно. Так заведено. В последнее время клеют не столь активно, но то тут, то там по-прежнему появляются новые наклейки. Откуда пошла эта традиция, точно никто не знает, но, по слухам, зачавшие сюда в 20-е годы «авангардисты» затеяли сыграть шутку над богачом, для которого в обеденное время бронировался постоянный столик в другом конце зала. В чем собственно состояла шутка, с сегодняшней временной дистанции уяснить трудно; главное же, что внизу, у самого плинтуса, до сих пор приклеены ветхие пожелтевшие вырезки из газет, где речь идет об этом финансисте по имени г-н Грош. Авангардисты нарезали газетные колонки тонкими полосками и наклеивали их на стены с самого низу, предпочтительно параллельно плинтусу; по замыслу клеятелей, делалось это в пику г-ну Грошу. Постепенно эти несурзные наклейки расплзлись от плинтусов кверху; в 30-е и 40-е годы к ним добавились листовки и коротенькие памфлеты, воззвания, в основном политического характера; позже, в 60-е и 70-е, прямо поверх них стали лепить коммерческие наклейки, сначала старые эмблемы топливных компаний «СТП» и «Галф», потом «Кастрол» и «РФИ», следом – эмблемы футбольных и гребных клубов, и так далее, и все это образовало конгломерат, покрывающий панели сегодня.

Можно было бы провести археологическое исследование, вскрыв наслоения и обнажив все пласты – от наклеек самых глубинных, закопченных, приобретших вид золотисто-коричневого пергамента, до самых свежих, от жизни ранней богемы – до расцвета спорта и торговли. Сами панели, едва видимые через узенькие просветы между наслоениями наклеек, темнеют матовой чернотой, они почти так же черны, как потолок над головой повара на кухне. Кажется даже, будто между наклейками пустота. Трудно определить, где кончаются наклейки и начинаются панели, а значит, начинается (эвентуально, заканчивается) и сам «Хиллс»; считать ли стену началом или концом зала, помещения, здания. Пожалуй, Европа и впрямь видала лучшие дни. Можно утверждать, что идею Европы лучше всего отражает европейское гранд-кафе.

Поверхность стен, неоднократно покрытая слоями блестящего бежевого лака – это бенга, похоже? – и приобретшая, прошу меня извинить, коричневый оттенок поноса, от панелей до потолка плотно увешана картинами и рисунками, есть тут и пара-тройка коллажей. Произведения искусства «аккумулировались» в «Хиллс» годами, благодаря чему здешнюю коллекцию будет справедливо охарактеризовать как значительную в национальном масштабе. Тут у нас Револд, там Пер Крог, а возле столика номер пять – даже маленький набросок Оды Крог. В 90-е годы обсуждался вопрос сохранности коллекции в микроклимате «Хиллс», но семья всегда жестко настаивала на том, чтобы картины, полученные рестораном в дар, в нем и висели. Теперь, после введения закона о курении, с этим проще, но некоторые из ранних поступлений обрели табачно-коричневый оттенок.

Хотите верьте, хотите нет, но над столиком номер шесть висит небольшой докубистский пейзаж маслом работы Брака. А чуть подальше, возле ширмочки, великолепный рисунок Леже мелом. Висящий с правой стороны над баром простенький коллаж Швиттерса, заключенный в уродливую тиковую рамку, пожалован самим Швиттерсом, выбравшимся то ли в тридцать четвертом, то ли в тридцать пятом году в столицу с островка Йертёйа. На торцевой стене красуются два графических листа Гюннара С., и еще один – под антресолями. Крупные и мелкие работы рассованы по стенам в беспорядке. У нас в «Хиллс» никогда и речи не шло о том, чтобы что-то «перевесить»; новые поступления вешают там, где найдется место. И так продолжается по сию пору. Современное искусство втискивается в промежутки между произведениями искусства прошлого. Старое и новое, чистенькое и запылившееся висит бок о бок.

Качество даров существенно разнится. Рисунок углем руки Андерса Свюра размером в какие-то 15 × 20 см висит рамка к рамке с ранним полароидом Эда Рушей и атипичным фроттажем Козимы фон Бонин. Шарж Финна Граффа, изображающий Владимира Путина в образе лемура, касается, чисто физически, посредственной видовой открытки Киппенбергера. Так все это и расплзлось по стенам, сверху донизу, от потолка до того уровня, где начинаются панели с наклейками. Да, я действительно сказал *Kippenberger*. Там висит Киппенбергер. А вон снимок, сделанный Вали Экспорт. И есть у нас кричащий, но славный маленький Ширер с изображением *металлической головы*, стоящей на вершине горы и обзоревающей окрестности.

Именно в связи с хиллсовским собранием произведений искусства стоит упомянуть еще одного постоянного посетителя, Тома Селлера. Он прямая противоположность Хрюшону. Селлерс обретался в Дюссельдорфе и Кёльне (нужные места) в нужное время и, говорят, сделался не последней фигурой в тех кругах, где вращался Киппенбергер. Селлерс всегда отрицает это, ассоциация с Киппенбергером – меч обоюдоострый. Сам Селлерс художником никогда не был, его это не интересует. Но, как и за всеми «фигурами» из «кругов», «близких к Киппенбергеру», за ним оттуда все еще тянется некая аура, и он наверняка якшается со многими другими «фигурами» из «тех кругов» – и имеет тем самым доступ к произведениям, к каким у большинства доступа нет. Изрядная доля лучших работ, подаренных за последние 15–20 лет, оказалась у нас благодаря Тому Селлерсу. Это он в свое время преподнес нам простенький рисуночек Вернера Тюбке с изображением ступни; рисунок висит у торца барной стойки. Его самый ценный дар – крохотная акварелька Виктора Гюго, на которой осьминог парит над замком в долине Рейна; выполнена она сажей, кофе и угольной крошкой в технике вымывания, типичной для рисунков Гюго. Своей меценатской деятельностью Селлерс заработал у нас немалый кредит доверия. Однако его вклад влечет за собой некий прицеп, нарост, добавку – налет разболтанности, беспорядка и неуправляемости. Но в «Хиллс» и этому есть место. У нас никто не должен чувствовать себя стесненно, говорит М. Хилл, исполнительный директор.

Еще на стенах висят портреты постоянных посетителей прошлых лет. Чтобы заслужить портрет, мало быть видной персоной (в области финансов, культуры или науки), необходимо еще проводить у нас достаточно времени и оставлять звонкую монету. Упомянутый актер (погоревший, прогоревший) не удостоился чести иметь здесь свой портрет, а после того как его оштрафовали за скандальную подделку документов, у него вряд ли осталось достаточно денег, чтобы в грядущие годы сорить ими здесь. Портрет Хрюшона тоже блистает своим отсутствием, но по иной причине: когда исполнительный директор намекнула, что пора бы уже таковой написать, Хрюшон вежливо отклонил предложение. У Хрюшона хороший вкус. Искусство его безусловно интересует. Поговаривают, что дома у него есть отличный Киттельсен. «Вы знаете, – по словам Шеф-бар, сказал Хрюшон М. Хилл, – когда, как я, изучаешь офорты Карла Ларссона столько лет, то, как бы это сказать, сложновато найти портретиста, который бы... ну, вы меня понимаете. Сами знаете... в наши-то дни. Но спасибо, что предложили».

Молодая дама

К тому времени, как я выношу заказ Хрюшона, последний сотрапезник еще не появился.
– Вас не затруднит посмотреть, нет ли того, кого мы ждем, в гардеробе? Это молодая девушка... дама, – приглушенно просит он.

– Извольте, – отвечаю я.

Хрюшон вытаскивает телефон и показывает мне фото девушки. Что за манеры? Совсем не похоже на Хрюшона. У стойки гардероба образовалась небольшая очередь из пожилых мужчин. Я не знаком с той, кого мне описали как «молодую» и «девушку... даму», но здесь таких явно нет. Старый Педерсен управляет с одной мужской курткой за другой.

– Кто-нибудь пришел на встречу с господином Грэхемом? – громко спрашиваю я. Четверо никак не реагируют, один слегка качает головой. Я спрашиваю Педерсена, но он никого не видел. Выхожу на улицу и смотрю сначала направо, в сторону трамвайной остановки, потом налево, в сторону Стортинга. Мой взгляд скользит по так называемой «танцевальной ямке» – впадине в асфальте, в которую однажды угодила вдова Книпшильд. Все официанты видели, как она запнулась, и, чтобы не упасть, ей пришлось сделать резкий выпад другой ногой; при этом она взмахнула руками, так что могло показаться, будто она исполняет эдакое рок-н-рольное па, отсюда и название «танцевальная ямка».

Конец ноября, и, хотя стоит прекрасная погода, мне не удается сполна насладиться ею. Привычка – это плат, скрывающий природу вещей, как говорится. Несмотря на сияние осеннего солнца, город кажется выцветшим, всегда одинаковым, банальным.

– Я ее не видел.

– Гм.

Хрюшон позволил себе неторопливо пригубить белого бургундского. Блез не сводит с него взгляда.

– Позовите меня, если понадобится еще что-нибудь, – говорю я.

За те 13 лет, что я здесь работаю, я ни разу не видел, чтобы спутники Хрюшона проявляли раздражение или повышали голос, но сейчас Блез обращается к Хрюшону весьма решительным тоном. А Хрюшон, о котором ни в коем случае нельзя сказать, что он слаб и податлив, исполняет серию извиняющихся жестов. В конце концов, в 14.22, Блез поднимается со стула так, что тот с визгом проезжается по полу, отшвыривает в сторону льняную салфетку и направляется к выходу жестким шагом промышленного босса. Я исподтишка бросаю взгляд на Шефбар, чтобы удостовериться, что она это тоже заметила – разумеется, заметила, как и всегда, – затем делаю несколько шагов вперед и, переступив границы дозволенного, касаюсь ладонью спины несколько взбудораженного Хрюшона, между лопаток. Катарина, подобрав по одному орешки и семечки, машинально убирает свои бебехи в сумочку и беззвучно поднимается.

– Все хорошо?

– Да, не беспокойтесь, – говорит Хрюшон.

– Не нужно ли чего-нибудь?

– Нет, благодарю. Посчитайте нас, пожалуйста.

Хрюшон одну за другой отделяет купюры от пачки, а Ванесса принимается убирать со стола, чуть рановато, чуть (слишком) поспешно. Никто из сидевших за столиком заказанных блюд не доел, и белое бургундское придется вылить; бутылка еще наполовину полна драгоценной жидкости. Это дело я беру на себя, без колебаний выплескивая белое бургундское в сточную раковину. И виноградный нектар из Алокс-Кортониса исчезает в клоаке. Хрюшон, накрыв одной мягкой ладонью другую, остается сидеть в ожидании, пока я вернусь со сдачей, которую он все равно оставит, но я позволяю ему исполнить этот невинный ритуал с подвиганием тарелочки в мою сторону и произнесением формулы «это оставьте себе», после чего я сердеч-

нейшим образом благодарю за чаевые, или начай, те денежки, на которые официант, согласно традиции, мог по окончании смены выпить чаю или чего покрепче. Я-то не большой любитель выпивать, и мои смены имеют обыкновение затягиваться. Хрюшон движением ноги оправляет штанину и удаляется, развернувшись к нам чуть скошенной на один бок спиной.

- Не каждый день с Хрюшоном так обходятся, – замечает Шеф-бар.
- Что верно, то верно, – говорю я.

Как по заказу появляется Мэтр. Когда дело пахнет керосином, он тут как тут. – Что происходит? – спрашивает он. Сейчас начнет выпытывать. Начнет руководить. Он мнит себя хозяином заведения, возможно, потому, что и отец его был здесь метрдотелем, и отец отца. Не кривя душой, с нейтральным выражением лица, я говорю, что затрудняюсь определить. Он долго смотрит на меня в упор и по обыкновению постепенно приближает свое лицо к моему. Лицо ребенка представляет собой, как правило, чистую округлую поверхность, холст для важных в символическом смысле черт, глаз и рта. На лице ребенка выделяются глаза и рот. Глаза и рот могут придать лицу обворожительную прелесть, с их помощью мы общаемся, по ним можно прочесть неуверенность, радость и печаль. С возрастом же в лице все сильнее проступает собственно лицо. Глаза и рот оттесняются на задний план самим лицом. Лицо Метрдотеля представляет собой разительный пример этого «торжества морды». Его глаза, когда-то наверняка ясные и сияющие, теперь мало того что ввалились и стали бесцветными – они еще и несоразмерно малы для такой обширной физиономии. Мешки под глазами чуть ли не выразительнее самих глаз. Если в детские годы выражение его лица складывалось в основном из выражения глаз и рта, то сейчас в них читается минимум того, что «происходит» на лице в целом. Губы, когда-то упругие, пухлые и нежные, теперь плотно сжаты в щелку с вертикальными морщинами в уголках: кажется, будто Мэтр постоянно дует в поперечную флейту. То, что осталось от «губ», в лучшем случае функционирует в качестве своего рода ставня, прикрывающего пожелтевшие зубы. Много лба, челюстей и щек, местами гладких и блестящих, местами изрытых расширенными порами, изборожденных морщинами. Его лицо окрашено в бесчисленное множество цветовых оттенков и нюансов, покрыто мелкой сеточкой лопнувших сосудов, изнурено годами бритья, похлопывания ладонями, смоченными лосьоном, а также потреблением алкоголя. Некоторые мины и гримасы обрели сложившуюся форму. Не велика хитрость по внешнему виду определить, что творится у него внутри, насколько бы церемонно он ни держался.

- Счастье с несчастьем соседи, – говорит он.

Вообще-то я не мастер читать по лицам. Если мне захочется встретиться со своими треволениями лицом к лицу, так сказать, то мне достаточно посмотреть в зеркало. Мое лицо будто слепок треволений, мучивших меня годами, треволения – форма отливки моего лица. Часто, чувствуя, как стягивается кожа на лице, я представляю, какие черты проступают на нем при этом; треволения сжигают ткани и подкожный жир. Я чувствую, как уголки рта тянет книзу. У меня напряженное лицо, вот что. Я ощущаю, как чувства хозяйничают у меня на лице и старят его. Как им это удастся? Что невоздержанность в употреблении спиртного может попортить и обезобразить лицо, это понятно, что кровеносные сосуды и поры расширяются под действием алкоголя, логично, именно эта драма и разыгрывается на лице Мэтра. Но что лицо могут изрезать эмоции, это мне кажется несправедливым. Если у тебя есть нервы, в конце концов у тебя будет нервная физиономия. Почему так устроено? Разве лицо – это игрушка для нервов? Что человек лицом общается, это очевидно, но если человек пытается скрыть свою нервозность под бесстрастной миной, а в конце концов все-таки оказывается обладателем нервной физиономии, то для чего это надо? Что за эволюционный тупик? Когда ребенок плачет, все кидаются ему на помощь, а вот когда в обществе появляется нервная физиономия, все разбегаются. Никто не бросается спасать нервную физиономию.

Шеф-бар говорит, что иногда Мэтр прячется за углом и мажет физию лосьоном. Вот она и блесит. Ну и смех! Он умело прячется, но мне слышно, как он намазывается, говорит Шеф-бар. Мы с Шеф-баром можем втихомолку посмеяться над этим слышимым намазыванием. Но главное, говорит Шеф-бар, чтобы, например, Селлерс с компанией не пронюхали об этом. На такой мелочи они вполне способны выстроить целую систему издевок.

* * *

В самом начале четвертого, раздвинув суконные портьеры, входит молодая дама. Направляется напрямик ко мне и осведомляется о Грэхеме, то бишь о Хрюшоне. Голос у нее сразу и располагающий, и резкий, и ей удается выжать из меня серию подтверждений. Грэхем ушел уже? Да. Он был не один, со спутниками? Да. А среди них был мужчина средних лет? Был.

Девушка похожа на свое фото, я переживаю легкое дежавю. Толщиной – или, наверное, лучше сказать, тонкостью – с модный журнал о стильной жизни. Присущие ей самоуверенность и апломб легко принять за ум; может быть, это ум и есть. Она выглядит как излишество, замаскированное под аскезу. Возможно, это звучит ужасающе, вы уж меня простите, но у меня возникло чувство, что такие как она являются продуктом женоненавистничества – это я в хорошем смысле.

Не хотелось бы надолго задерживаться на одном месте, как заезженная пластинка, но скажу: те, кому знаком живописный портрет пятнадцатилетней Элизы Тведе кисти Матиаса Столтенберга, еще головка ее очень хорошо прописана, смогли бы уловить определенное сходство. Пожалуй, стоящая передо мной девушка представляет собой более светлую версию Тведе. Версию, в жизни которой меньше ощутимых забот. И окутанную в своего рода оглушительную современность, нужно, наверное, добавить, со всем отсюда вытекающим. Она приделалась во что-то потрясающее от Дриса ван Нотена и носит это с шиком, что очень не многим дано. На ногах у нее туфли от Аквазурра, они в прекрасном состоянии, на кончиках шнурков – яркие маленькие помпончики. Но, как говорится, за всей этой элегантностью скрывается *undethronable tackiness*². Пожалуй, эту девушку можно охарактеризовать как ценность, притом что я не знаю в точности, что бы это могло значить. С какого рода персоной мы тут имеем дело? Она что, новый флагман Хрюшона?

Хрюшон осторожен во всем, что касается так называемой безвкусицы, это относится и к противоположному полу. Вокруг него неиссякаемым круговоротом вращаются ухоженные особы женского пола, но все они принадлежат к типу уже определившихся. В том смысле, что ни одну из них не заподозришь в тщеславии, ни одна не тянет шею в надежде где-то здесь, у нас, найти удовлетворение своих жадных амбиций. Особа женского пола, вовлеченная в круг общения Хрюшона, это особа женского пола, уже усвоившая все правила игры, женщина, по виду которой нельзя сказать, что ей «требуется» Хрюшон, и, наоборот, которую Хрюшон никоим образом не может «использовать» – иными словами, женщина, являющаяся ровней Хрюшону, равноценная женщина.

Но стоящий передо мной экземпляр несколько молод для этого, вроде бы? Может быть, родственница?

– Я могу вам как-то еще быть полезен? – говорю я.

Девушка не отрывает взгляда от украшающей пол мозаики. В центре каждого мозаичного круга камушками выложено по три стилизованных пиона нежнейшего розового цвета. Она поднимает глаза и этим сразу же накидывает себе десяток лет.

– Нет, я вернусь попозже. Передайте, пожалуйста, что я заходила.

– Мы ждем господина Грэхема только завтра. А вы не из Грэхемов?

² Неискоренимая липкость (англ.)

– Что?

– Да нет, так. Прошу прощения.

От девушки исходит какое-то холодное свечение, и когда она удаляется, поблагодарив, на ее месте образуется так называемый человеческий вакуум – или явственно осязаемое отсутствие. Когда она проскальзывает за суконные портьеры, свет в «Хиллс» тускнет на пару физических единиц. Как выражается мой друг Эдгар, такой изгиб талии являет собой последний бастион потребительской стоимости. Подходит Мэтр и берет меня под локоток; я при этом ощущаю определенную неловкость, поскольку стремлюсь на своем рабочем месте соблюдать дистанцию. Не прыгай слишком высоко, о свою же бороду запнешься, говорит он, намекая прикосновением руки на то, что я не должен забывать о своих трудовых обязанностях. Я бросаю взгляд в сторону Шеф-бара. Вид у нее озадаченный. Неужели она не знает, кто такая эта девушка? Чтобы Шеф-бар пришла в замешательство в деле атрибуции клиентов, это редкий случай. Ее ментальная карта посетителей кафе и ресторанов в Осло не знает пробелов. Шеф-бар – ходячий справочник. Она проявляет такой интерес к клиентуре «Хиллса» и так ее изучает, словно это научная дисциплина – или по крайней мере своеобразное хобби. Шеф-бар обладает так называемым каталожным знанием нашей клиентуры. В том, что касается наших посетителей, она подобна коллекционерам винила. Ее эрудиция может действовать на нервы, как могут действовать на нервы коллекционеры винила, или как могут действовать на нервы, скажем, мужчины, обладающие глубокими познаниями в области велосипедной техники, или сотрудники фотомагазинов – словом, мужчины, «полностью повернутые» на своем пристрастии. Но во имя справедливости следует упомянуть, что время от времени она делится информацией, которая дарит мне радость. Не пользу, а именно угодливую радость. Сейчас же Шеф-бар – воплощенная растерянность.

Каждое утро

Строгий распорядок и обслуживание клиентов – испытанное средство в борьбе с внутренними помехами. Я стараюсь быть занятым постоянно. Мои рабочие дни кажутся нескончаемыми, и это меня устраивает. Каждое утро начинается с облачения в тужурку официанта. В тесной раздевалке за кухней я снимаю с вешалки белую тужурку. Засовываю в рукав одну руку, затем другую. Оправляю тужурку, поддевая ее на плечах. Продаваю роговые пуговицы в петли. Всегда одно и то же. Чистая рутина. Эта тужурка у меня уже лет восемь, не меньше. Тужурки нам поставляет производитель из Бельгии, еще они шьют походные рубахи для военных. Качество наших тужурок высочайшее: их строчат из того же типа тонкого хлопчатобумажного полотна простого переплетения, что и рубахи для военных, и они такие же износостойкие. Тужурки однобортные, застегиваются спереди на костяные пуговицы диаметром 25 мм матового черного цвета и снабжены двумя небольшими карманами; в правом я держу исключительно ключ для открывания бутылок, левый большую часть времени пуст. Тужурки изнашиваются, но на привлекательный манер, как изнашиваются прочно сшитые вещи; тужурки отличает износостойкость качественного интерьера. И сам «Хиллс», и эти тужурки своим происхождением обязаны эпохе, когда вещам предназначалась долгая служба; со временем они лишь лучше садились по фигуре. Становились удобнее. Обретали нужную форму. Не превращались в негодные и ненужные шмотки, как большинство нынешних вещей.

«Украшение городу – храбрость его мужей, телу же – красота, душе – мудрость, вещи – прочность, слову – истина», – говорится в «Похвале Елене» Горгия. Складывается впечатление, что на сей момент в силе остается только сказанное о теле. Уж прочность вещей точно давно отброшена за ненужностью. Хотя есть вещи, выдерживающие испытание временем: кухонные инструменты, которыми пользуется шеф-повар, все до одного прочны и надежны. Он старается по возможности пользоваться старыми, не приобретая новых. Электроники у него ноль, насколько мне известно. То, что электронику необходимо покупать все новую и новую, меняя ее с бешеной скоростью, говорит о ее ненадежности. Электроника – это неиссякаемый источник досады. Наши тужурки сдаются в чистку и глажку трижды в неделю, и острая эстетическая коллизия между износоустойчивой, но заношенной вещью и ее чисткой и глажкой, или же еще и крахмаливанием, чрезвычайно притягательна. Такие же тужурки служат формой официантам в роттердамском «Де Пейп», в «Мажестик» в Порту и в бадалонском «Фуэте», да и в старом добром цюрихском «Кроненхалле». Тужурка официанта универсальна, и это меня полностью устраивает.

Вообще, одежда – дело не простое. Какую одежду носить, когда я не на работе? Обычную одежду. Глубоко ординарную одежду. Как говорит Эдгар: то, что одеваться приходится каждый день, означает, что каждый день приходится идти на поводу у тех эстетических принципов, которыми руководствовался некий случайный модельер, высокого или низкого пошиба, в удачный или неудачный момент. Часто я соглашаюсь с Эдгаром, хотя временами его рассуждения представляются мне несколько выспренними. Когда на мне обычная одежда, не важно, иду ли я на работу или с работы, одна и та же мысль часто не дает мне покоя. Мое внимание переключается с того случайного модельера, благодаря которому родился дизайн моих трусов, на того (и чаще всего на того, а не на ту), которому я обязан своими ультрамариновыми носками, на индивида, создавшего мою майку-сетку, надетую поверх нее повседневную сорочку, брюки. Я представляю себе дизайнеров, создававших мою одежду. Вот они, когда в удачный, когда в неудачный момент, проектируют вещи, которые мне приходится натягивать на ноги или надевать через голову перед тем, как выйти из дому и пересечь город, направляясь напрямиком в «Хиллс», а позже назад, домой, и я ведь в каком-то смысле создаю им рекламу, этим вещам и их дизайнерам. Я способствую циркуляции их коммерческих идей в городе. Это меня

коробит. Я не хочу сказать, что обладаю броской внешностью, одеваюсь я как можно более нейтрально, но за тем или иным столом заседаний в том или ином кабинете модельер словом «нейтрально» обосновал создание этой вещи, и вот я хожу и демонстрирую представления этого горе-модельера о «нейтральности»; подобные мысли сводят меня с ума. И, словно этого мало, они перескакивают следом на обувь, часы, перила и дальше на сам город, так что эта оптика переиначивает вид фасадов, витрин, улиц, продуктов, кинофильмов и так далее. Я хожу и кипячусь в собственном соку, убежденный в том, что мы все до единого попались в сети, сплетенные из чьих-то более или менее удачных эстетических предпочтений и хитроумных планов. Просто-напросто коммерческих идей, порожденных в ходе более или менее продуктивных рабочих дней, и идеи эти всегда движимы мыслью о деньгах. И вот в эти ловко раскинутые сети, которые плетут жаждущие наживы типы, попался и я. Каждый день я запутываюсь в мелкочаеистых сетях множасьихся коммерческих идей. Моей вины тут нет. Я и сам не присился участвовать в подобных транзакциях, и никогда не понуждал других участвовать в них. Я сейчас говорю совсем как Эдгар.

Поэтому каждое утро, явившись в «Хиллс» в 06.45, я с радостью освобождаюсь от «собственноручно подобранной», «нейтральной» одежды. Я стаскиваю ее с себя и надеваю униформу. В ней легче дышится. Мое отношение к официантской тужурке устоялось, потому что ее дизайн отработан, он базируется на давних традициях и ей нет надобности выражать шаблонное представление о «современности» какого-нибудь случайного модельера, жаждущего разбогатеть, и вчера я повесил ее на вешалку в закутке позади кухни, расправив как можно аккуратнее, чтобы она была готова к использованию сегодня. Была готова использоваться каждое утро, в нужное время. Мы по одному заходим друг за дружкой в тесный гардеробный закуток и надеваем тужурки. Все официанты и все повара должны по очереди заглянуть сюда, все, кроме Мэтра. Он приходит уже облаченным в костюм. Я думаю, раздевалка кажется ему малопривлекательной, немного тесной, да так оно и есть.

Я стелю поверх подскатертников накрахмаленные скатерти и расправляю их руками. Протираю мраморные столешницы, на них класть скатерти не полагается. Я протираю столешницы, даже если это уже сделано до меня. Я выставляю воду. Пишу мелом названия блюд дня на старинной доске, висящей рядом с окошком раздачи. Когда я это делаю, я ощущаю себя учителем. Нужно сходить за газетами. Это моя работа – каждое утро сортировать газеты и по одной зажимать их корешком в длинной деревянной рейке, так называемом *Zeitungsspanner*³. Я вывешиваю их на газетный стенд при входе. Ежедневные норвежские газеты мы в таком заведении, как наше, не предлагаем, уж слишком они плебейские. Мы пытаемся соответствовать континентальным стандартам и выставляем те немногие из зарубежных изданий, что все еще печатаются на бумаге. Не то чтобы мы так уж пыжились, стараясь выпятить собственную континентальность, но норвежских газет мы не держим, извините. Они не выполняют своих обязанностей по части информирования общественности. Временами, когда у нас случается затишь, я пристраиваюсь у барной стойки и читаю бумажное издание какой-нибудь газеты. Не может и речи быть о том, чтобы я небрежно пробежал тексты глазами. Я читаю аккуратно, шурша страницами. Шуршание перелистываемыми страницами полноформатной газеты является видом деятельности, чисто эстетически подобной исполненному портным шву или зову саксофона. Иными словами, оно принадлежит прошлому. Устарело, изжило себя. На большого любителя, коих единицы. Когда я прихожу на работу, у нас чисто. «Чисто»... Полы и прочие поверхности моются каждую ночь, но вообще-то «Хиллс» во всех отношениях ресторан-замарашка. Не скажешь, конечно, что у нас плохая гигиена, но следует сказать, что отчасти у нас кое-где кое-что и подзаросло, запачкалось. Будто за все прошедшие годы еда, чад, дыхание ввелись в стены и тонкой пленкой обволокли мебель и каждый камешек мозаики, не говоря

³ Держатель для газет (нем.)

уж о потолке. Раньше в залах курили, как, возможно, многие помнят, и в интерьерах «Хиллс» по сию пору заметны следы сотен тысяч сигарет, выкуренных за долгие десятилетия, пока это было разрешено. Рюмки, бокалы, фужеры и графины все высочайшего качества, традиционных форм, а не причудливо-дизайнерских с претензией на стиль. Приборы, как, возможно, уже упоминалось, – это ранние модели гебрюдер Хепп, эвентуально подлинный Пюифорка. На всей столовой посуде подглазурно нанесена делфтской голубой краской эмблема «Хиллс», увенчанная сверху характерным вписанным в овал и безупречно элегантным «Х». Всякий раз, расставляя на поверхности стола эти тарелки, я ощущаю прилив воодушевления. Таково свойство высокого качества. Оно вселяет воодушевление.

Кухня в «Хиллс» похожа скорее на кузню, чем на кухню, паленая, обугленная. Газовая горелка, полыхающая на пяточке у шеф-повара, была бы к месту и на промышленном предприятии. Соки опаливаемой и обжариваемой снеди забрызгали стены доверху, заползли в самые укромные уголки и поры. Ассистенты шеф-повара стоят в другом конце кухни, с ними я дела почти не имею. В стене между кухней и залом проделано отверстие, нечто среднее между оконцем и кухонным островом. Эта конструкция не входила в замысел архитектора, она органично произросла из полувековой практики и переделок. Трудно разобрать, что здесь стена, что полки, что подвеска для кастрюль и сковородок, что рабочая поверхность, а что сервировочная стойка. Потолок стал коксово-черным. Над тем местом, где, потея, колдует шеф, потолок прочернел настолько, что его просто-таки не видно, нет в принципе. Над шефом висят кастрюльки, сковородки и другая утварь, а выше – потолок, но его, как я уже говорил, не видно. Вот он там стоял-стоял, шеф-повар-то, фламбиривал-фламбиривал, да и спалил потолок, так сказать. Над местом шеф-повара располагается отсутствие потолка, глубокое, темное отсутствие, впадина, обращенная кверху. Настолько закопчен потолок. Он не отражает ничего. Кухня довольно тесная, и шеф стоит на том месте, где и до него стоял шеф-повар, и до него тоже, где они всегда стояли и день напролет что-нибудь обжаривали, а то и фламбиривали этими своими нескончаемыми фламбиривочными движениями.

Чуть в стороне от центра города, на площади Карла Бернера, располагается мастерская кузнеца Хьелле. Его визитная карточка, если можно назвать визитной карточкой простую картонку с офсетной печатью, извещает, что он производит заточку: *Заточка всех видов инструментов для работы по камню, земле и бетону, а также любые кузнечные работы.*

Примерно раз в полгода шеф-повар собирает свои ножи и сдает их Хьелле в заточку. Кузнец Хьелле точит ножи шеф-повара, чтобы они снова стали острыми. На тот же манер, что старый Юхансен на балконе антресолей оттачивает, сидя за роялем, популярные мелодии прошлого, чтобы придать им остроту. Для заточки ножей в остальное время сам шеф-повар применяет технику японских точильщиков; отдавать их Хьелле достаточно пару раз в году. Однако шеф-повар верен ножам европейского производства, европейской стали. Обсушенные ножи лежат в боевой готовности на тряпице справа от разделочной доски, сплошь покрытой рубцами. Ножей не слишком много, каждый нож предназначен для выполнения немногих определенных операций. В чисто эстетическом отношении ножи полностью гармонируют с кряжистым телосложением шефа, в то время как чистые линии стали образуют резкий контраст с его изборожденным морщинами лицом – что чисто визуально еще теснее связывает его с ножами; возможно, это покажется парадоксальным, но это так. Остро отточенные ножи находят отзвук в его морщинистых щеках и приплюснутом носе. О таких как он говорят: тяжел на руку и за словом в карман не полезет. Он и сам груб как кузнец, грубиян с гастрономической жилкой от бога, горилла с тончайшим вкусом. Он немногословен. Но уж если откроет рот, отбреет любого. Это он сказал, что внутри нашего Мэтра бушует гражданская война между алкоголем и гомосексуализмом.

Часть II

Эдгар и Анна

Я не большой любитель смешения ролей, однако смешивать роли нижеследующим образом я себя приучил: мой хороший друг, пожалуй даже, один из моих лучших друзей, Эдгар, которого я уже упоминал, вернее, мой лучший друг, приходит сюда практически через день. Он всегда является ближе к вечеру, около 17.00, и всегда вместе с дочерью, Анной. Я обслуживаю их так же, как и всех остальных, но атмосфера вокруг нас иная. По отношению к ним я и официант, и друг. Мы всегда успеваем поговорить, или, скорее, я работаю, а они разговаривают со мной. Оба они весьма разговорчивы, у Эдгара есть свое мнение обо всем. Мы с Эдгаром знаем друг друга с семи-восьмилетнего возраста, я знаком с ним дольше, чем с кем-либо еще. Я всегда усаживаю Эдгара с Анной за столик на четверых, под собакой Пера Крога, чтобы у девятилетней Анны рядом с тарелками оставалось место делать уроки. Столик кафе во многих отношениях является противоположностью школьной парте. Нет разве? Кто-то сказал, что столик кафе на всем протяжении развития европейской культуры служил важнейшим центром так называемых *bohemianist research*⁴, именно тем местом, где велись независимые, автономные поиски ответов на вопрос, где и как жить «настоящей жизнью», или как «прожить жизнь по-настоящему». За столиком кафе складывались и увядали *research friendships*⁵. Анна вытаскивает учебники и пенал, сосредоточенно точит карандаш, осыпая все вокруг очистками, и принимается за дело. Вопреки едким замечаниям, которыми Эдгар комментирует пользу обзаведения потомством – «разумеется, Норвегии требуется все больше страдающих аллергией пользователей айфонами», – девочку он любит. Он воспитывает ее один. Мать ее живет отдельно от них, в другом городе. Она страдает биполярным расстройством личности, у нее развилась сильная зависимость от бензодиазепинов, и ее лишили родительских прав из-за безответственного и рискованного поведения в послеродовой период. Я помню, как беспокоил Эдгара прием женой бензопрепаратов в первом триместре беременности. В ряде исследований высказываются опасения, что прием диазепамов повышает вероятность рождения ребенка с волчьей пастью или заячьей губой. Анна с матерью почти не видится. И волчьей пасти у нее нет, вот так-то.

Анна разглядывает обанкротившегося актера и шепчет что-то Эдгару на ухо. Всклопоченная шевелюра актера плавно переходит в растрепанную бороду; это придает ему карикатурный вид. Он похож на леонбергера, сто лет накачивавшегося спиртным. Эдгар рассказывает, что они с Анной любят смотреть передачу, в которой разные знаменитости пробуют себя в качестве классного руководителя седьмого класса школы. Некоторые прекрасно с этим справляются, а у других все идет наперекосяк. Пока Эдгар излагает эту историю, Анна не сводит с него глаз и громко хохочет в тех местах, которые кажутся ей уморительными. Именно в этом возрасте зубы у детей растут с разной скоростью; так же и у Анны. Но независимо от их размера или наклона, ее зубы ослепительно белые. Я знаю, что у многих детей эмаль новых зубов чуть желтее, и это не всегда добавляет детям шарма. Я по возможности стараюсь не смотреть на кривые, отливающие желтизной зубы, мне они кажутся отвратительными. Анна вежливая и аккуратная девочка. Эдгар хорошо воспитывает дочь, я думаю, это он следит за ее гигиеной. Я как-то познакомился с другом Анны, Карлом Фредриком, они привели его с собой. Его манеры изысканными не назовешь, вынужден я сказать. Анна смеется громко, но у нее

⁴ Богемные исследования (англ.)

⁵ Содружества исследователей (англ.)

такой искренний смех, что невозможно не поддаться ее очарованию. И она на редкость сообразительна. Между этапом раннего детства и подростковой стадией располагается несколько золотых лет, говорит Эдгар, когда детишки такие умные, что умнее им, видимо, уже не стать, но в то же время они еще совершенно не испорчены. Для того чтобы портить детей в этом возрасте, задействуются колоссальные ресурсы, утверждает Эдгар. Одна организация за другой, одна коммерческая структура за другой создаются и функционируют исключительно для того, чтобы стреножить развитие детей и свести до предсказуемого уровня их потенциал, тот безграничный потенциал, которым дети в возрасте восьми, девяти, десяти, одиннадцати лет еще обладают, и вот они ходят в школу, просиживают там дни напролет и подвергаются воздействию всевозможных технологий. Школа кладет их на лопатки, любит говаривать Эдгар. Заорганизованность тянет и склоняет детей в заранее заданном направлении, родители тоже в той или иной форме давят на детей, не давая им проявить себя. Технологии захватывают и затягивают ребятшек в свои сети с самого нежного возраста, напирают с непреклонностью законов природы и тянут, дергают их к себе, соблазняя их и пуская им пыль в глаза, проникая в их нервную систему и просачиваясь в ДНК, и тем самым технологии и впрямь превращаются в законы природы, так что детям редко, а то и никогда не удастся полностью раскрыть свой исходный потенциал, они не умеют громко хохотать во весь рот, вот как сейчас хохочет Анна, когда Эдгар рассказывает об этой телевизионной программе. Анна даже привстала, так ей смешно. Она показывает на Эдгара пальцем и заливается смехом, потому что Эдгар рассказывает, как одна из этих знаменитостей, горе-учительниц, ухитрилась выпустить в классе пятнистого хомячка одного из школьников, и теперь там царит полнейший тарарам. В полном восторге дети с визгом носятся по классу, карабкаются на стены, обрушиваясь с них на пол. Должно быть, телевизионщики часть материала отсняли в ускоренном темпе, потому что там и сям смонтированы до крайности замедленные эпизоды, где с кристальной четкостью видны опрокидывающиеся стулья, летящая по воздуху точилка, контейнер которой в полете раскрывается, так что оттуда во все стороны разлетаются очистки. На пол роняют парту, и на макроуровне видно даже, как щепотка шершавчиков, образовавшихся от стирания резинкой надписи на бумаге, раскатывается, подскакивая, по полу. Анна полностью поглощена рассказом. Учительница-знаменитость, согнувшись в три погибели, неуклюже вертится между партами, пытаясь схватить до смерти перепуганную зверюшку, мечущуюся из угла в угол. Эти кадры чередуются с другими, на которых еще семь знаменитостей пытаются обуздать доставшиеся им классы. Эдгар говорит, что даже не знает, кто все эти люди, если не считать двоих: престарелого барда, которого он помнит еще со времен своего детства, и жалкого обанкротившегося актера, который трапезничает на расстоянии трех столиков отсюда. Видимо, программа была отснята раньше, чем были выявлены подделанные им документы, на телевизионном экране он выглядит несравненно более свежим и бодрым, чем в жизни, замечает Эдгар. Апропо очистков: подошел Мэтр и велел мне подмести карандашные стружки, валяющиеся на полу под стулом Анны, или девчонки, как он ее называет.

Кофе

Кофе и автомобили каким-то неисповедимым образом заняли примерно одинаковое место в «свободной жизни Запада» и пронизывают ее метафизику в равной степени; эта мысль не раз посещала мою голову в моменты, когда меня тянет пофилософствовать; возможно, это на меня так Эдгар действует. Как известно, утро проходит под знаком кофе. Независимо от того, как относиться к отдаленным последствиям кофепития и автомобилизации, без этих двух компонентов, особенно в комбинации одного с другим, и особенно по утрам, нашу жизнь трудно себе представить. На хромосомном уровне такие занятия, как потягивание кофе и вождение автомобиля, сопряжены с представлением о раскACHE и раскоЧегаривании. С идеей горькой утренней улады в виде кофе, или поездки в машине, или с кофе в машине, или машины, остановленной возле кофейни, чтобы купить кофе и взять с собой в машину, или, если на то пошло, с идеей традиционного европейского кофе в кафе, что само по себе не предполагает наличия машины, но ее следует считать своего рода этапом пути, представляющим собой некую цель, равно как машина всегда представляет собой этап пути и конечную станцию сама по себе. Отказ от любой из этих двух вещей был бы равноценен ампутации конечности у тела социума, это абсолютно неактуально. Трудно себе представить, как бы общественный механизм мог каждое утро «раскоЧегариваться» в отсутствие этих двух составляющих. Кто-то сказал, что «пить бескофеиновый кофе – все равно что целоваться со своей сестрой». Вот вам пожалуйста: в единственном афоризме о кофе, который мне удалось вспомнить, речь, что характерно, идет о бескофеиновом кофе. Шеф-бар категорически отказывается подавать бескофеиновый кофе. Это ни в какие ворота не лезет, уверена она. Вообще-то она вовсе не фанат кофе, не кофе-наци, она не повернута на идеологии бариста, но она человек старой закалки, и всему есть предел, вот ее мнение. У нас в «Хиллс» по утрам все крутится главным образом вокруг кофе. Конечно, не обходится ни без круассанов с джемом, ни без утренних выпусков газет, но кофе являет собой ось утренней активности. Шеф-бар придерживается мнения, что культурное значение кофе – разумеется, не в том смысле, в каком о нем разглагольствуют снобы, но в смысле его фактической ценности для общества как в историческом, так и в политическом аспектах, – должно у нас выражаться в том, как мы его подаем. Самому мне приходится ограничивать потребление кофе, но от привычки выпить чашечку с утра отказаться очень трудно, именно потому, что тот, кто в восьмом часу не потягивает кофе из чашечки, оказывается исключенным из важного сообщества. Бескофеиновый кофе создает суррогатное ощущение сопричастности. Разумеется, можно считать себя кофеманом, даже когда потягиваешь кофе без кофеина, но давайте уж прямо скажем: кофеин – одна из важнейших составляющих кофе, и дело тут не только в эстетике и сценичности. Стоит вспомнить хотя бы *Schweigst stille, Plaudert nicht!*⁶ – первую строчку «Кофейной кантаты» Иоганна Себастьяна Баха, которую частенько заводит наш Юхансен. Этому пофигисту Баху стоило позаботиться о том, чтобы бескофеиновый кофе подавался его дочурке Лизхен, может, это как-то помогло бы ей справиться с зависимостью. Я слышал, что Вольтер выпивал до пятидесяти чашек кофе на дню. Самого меня кофе сильно выбивает из равновесия. Иногда просто паранойя какая-то начинается. Моя так называемая гиперчувствительность плохо сочетается с кофеином, представляющим собой один из тех стимулов, на которые мы, люди с гиперчувствительностью, сильнее всего реагируем. А еще мы, «гиперчувствительные», сильно реагируем на звуки и неоднозначные социальные ситуации. На смешение ролей. И на голод, или когда приходится выполнять несколько дел сразу. И в общении с другими людьми мы быстро теряем энергию, вместо того чтобы ощущать ее прилив. Я не могу с утра пить кофе, до прихода на работу. Звуки, произво-

⁶ Помолчите, не разговаривайте! (нем.)

димые посетителями, их галдеж, кажутся тогда слишком резкими. Стоит мне перепить кофе, и у меня тут же начинаются головокружение и сердцебиение, мало того, появляется ощущение, будто внутри меня что-то проваливается.

Здесь не место вытаскивать на свет божий бородастые истории, но помнится мне одно утро несколько лет назад, такое же утро, как сегодняшнее, в то же время года, и солнце светило так же, как сейчас, косыми лучами освещая кофейные чашки и утренние газеты на отшлифованных рукавами мраморных столешницах в зале. Я был в прекрасном расположении духа и сдуру выпил три, если не четыре чашки кофе еще до полудня. Забегал в бар, засыпал в кофеварку кофе и цедил себе один эспрессо за другим. Чашка кофе помогает сбить неприятные проявления отходняка от потребления слишком большого количества кофе, вот я все утро и усердствовал в потреблении эспрессо, чтобы сбить эти последствия. Время приближалось к половине второго, и я как раз собирался добавить кофе в чашку господину, сидевшему у стены, почти полностью закрытой зеркалом. Моя работа предъявляет два существенных требования: я должен обладать профессиональной гордостью, и я должен оставаться абсолютно незаметным. Профессиональная гордость обязывает меня строго следовать заведенным правилам, и это является решающим фактором для того, чтобы я чувствовал себя уверенно и выполнял свою работу с удовольствием, поскольку, обладая гиперчувствительностью, я с трудом переношу перемены, особенно неожиданные. То, что я стараюсь оставаться незаметным, позволяет мне общаться с клиентами и обслуживать их, не вовлекаясь в их проблемы. В наши дни, когда очень большому числу людей свойственно отвратительное позерство, профессиональная гордость и абсолютная незаметность представляются мне ценностями, которые достойны сохранения. И вот я с кофейником в руке, на профессиональный манер гордо и абсолютно незаметно, подхожу к господину, сидящему возле зеркальной стены. Повязанный на нем галстук шили в аду, сказал бы я. Узор настолько аляповат, что я теряю разгон и на несколько секунд застываю перед клиентом, не в состоянии вымолвить ни одного из привычных речевых оборотов. И пока он, несколько опешив из-за моего молчания, натянуто просит подлить ему кофе, мне кажется, будто я проваливаюсь в тартарары, и причиной этого является главным образом его галстук, я и по сию пору считаю, что это его галстук вызвал во мне такое ощущение. Этот галстук являл невероятную смесь трех нюансов синего: основу образовывал сероватый кембриджский голубой, пересекаемый лазурными полосками и в дополнение к этому испещренный крапинками того цвета, который я, пожалуй, назвал бы перваншевым оттенком лилового. Вид этого галстука бьет по моей сетчатке и расшатывает, в физическом смысле, картонный домик, который от рождения достался мне в качестве нервной системы и к описываемому моменту основательно дестабилизирован потягиванием кофе, расшатывает и обрушивает этот домик, так что он проваливается внутрь меня, внутри у меня все рушится и обваливается, у меня наступает внутренний коллапс. Все это освещается яркой вспышкой света, голова раздувается до невероятных размеров и становится легкой, как шарик, надутый гелием; ощущение такое, будто голова растет вверх, но при этом проваливается вниз, «что-то» проваливается, все внутри меня проваливается, и, чтобы не завалиться на сторону, мне приходится свободной рукой схватить себя за бок. При этом моя ладонь слегка, по касательной, задевает щеку пожилой дамы и толкает ее столик, заставив зазвенеть чашки с блюдцами и выплеснув чай на столик, за которым дама мирно чешет язык с подругой, никак не ожидая, что я, официант, ни с того ни с сего вдруг зашатаюсь как персонаж немого кино и едва не заеду ей изо всей силы по мягкой морщинистой щеке. Мне удастся восстановить равновесие, но я не осмеливаюсь попросить извинения, потому что чувствую, что рот у меня перекосило, а язык распух и тяжело завалился назад, в сторону глотки. Попробуй я теперь извиняться, и я попаду из кулька в рогожку, добавив к пощечине и расплескиванию чая режущий слух скрежет, будто исходящий из опухшей собачьей пасти. И вот я молча стою и хлопаю глазами, все с тем же кофейником в руке, но теперь

я ощущаю, как внутри меня вздымается некий всплеск адреналина, чувствую определенный подъем. У мужчины в галстук такой вид, будто он едва сдерживает серию кислых отрыжек.

– Не желаете ли добавки? – произношу я, удивляясь тому, что слышу слова, а не вой. От пальцев к плечам прокатывается ощущение покалывания, я бросаю торопливый взгляд на руку, держащую кофейник.

– Спасибо, не надо, – говорит посетитель. Рука тут, на месте, я ее вижу, но не чувствую, она совсем онемела, полностью.

– Сию минуту распорядюсь убрать, – говорю я, обернувшись к пожилым подружкам, и широким шагом пациента с острым психозом, по-моряцки вразвалку, словно пытаюсь подставить ножку собственной неустойчивости, удаляюсь на кухню. Маленький филиппинец с размашистыми ушами, работавший у нас в то время посудомоем, при моих словах «разлили» и «столик 14» мигом срывается с места с тряпкой в руке. Как же его фамилия? Я стою на кухне за дверью-вертушкой, дышу носом и машу руками, пока к ним не возвращается чувствительность. Бяйяни, что ли, Бавьяни, Баянви. Что-то в этом духе. Повар бесконечно фламбирует что-то под обугленным потолком. Плеснет в сотейник коньяку и умелой рукой так направит язык пламени от газовой горелки, что на медной посудине тут же вспыхивает огненный шар. Он у нас эстет, наш повар. Я теперь стараюсь много кофе раньше второй половины дня не пить, а то и до вечера.

Глазные яблоки

Смотрите-ка, она; как и прежде, в утреннем свете, по той же мозаике, в удобных туфельках на низком каблучке всплывает юная дама, которую Хрюшон с компанией ожидали давеча. В такую рань? Позавтракать зашла? Может, меня сейчас заносит и я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что как только она вошла, всем сразу захотелось во что бы то ни стало заполучить ее к себе. Кажется, такой товар, на который, как ни парадоксально, спрос с повышением его цены лишь возрастает, называется товар Гиффена? Складывается впечатление, что наша юная дама обладает подобным свойством. Хотя не поручусь, не знаю.

Она усаживается и смотрит в ту сторону, где в ожидании расцветаю в своей официантской форме я. Или не знаю, расцветаю – не расцветаю, просто стою на месте, стою здесь год за годом и старею, вроде как мох. Она делает едва заметный кивок головой назад. Как назвать кивок, направленный назад? Это называется задрать подбородок. Она задирает в мою сторону подбородок, и какой подбородок. Я незамедлительно реагирую и подхожу к ней, прижимая локтем к боку два меню.

– К вам кто-нибудь присоединится?

– Нет.

– Кофе?

– Да, пожалуйста.

Меня посещает мысль спросить ее, нашла ли она Хрюшона, Грэхема, но почти сразу же я отгоняю эту мысль прочь, слегка ошеломленный тем, что такое вообще могло прийти мне в голову. В мои должностные обязанности никоим образом не входит выпытывать что-либо у клиентов. И вот на тебе. Она может приходиться ему внучкой, может быть его деловым партнером или амурным увлечением, откуда мне знать. Наши клиенты не обязаны перед нами отчитываться. Однако неизбежно делаешь определенные наблюдения. Что она гарантированно представляет собой некий актив, это точно, иначе она не попала бы в обращение. Хрюшонов резерв. Кредит. Что знает об этом Шеф-бар? Судя по всему, пренебрежимо мало. Стоит за стойкой, и на ее пронизательном лице читается знак вопроса.

Немного несправедливо, что если нужно описать девушку, всегда приходится начинать с внешности, но что я могу с этим поделать? Больше мне не на что опереться. Когда всматриваешься в ясное небо, фокус не играет никакой роли. На чем там фокусироваться? Вот так же и с этой девушкой, думаю я, ее видно отчетливо, ясно, хотя она всегда не в фокусе. Нет, я серьезно. Впечатление, производимое ею, всепоглощающее. Я подаю ей одно меню, второе прижимаю к ребрам. Задерживаюсь рядом с ней чуть дольше принятого; она читает, а я не свожу взгляда с завитка у нее на макушке, или правильнее сказать, на темени. От темени к левому виску тянется не совсем ровный пробор, от него вправо зачесана челка, так что волосы ниспадают на лицо. Склонив голову, она изучает меню.

Эдгар завел как-то интрижку с одной девушкой, доводившей его до умопомешательства. Хотя она всегда заверяла его в полной ему преданности, рассказывал Эдгар, и умело внушала ему мысль о его исключительности, чего ранее у него не случалось ни с одной из его партнерш – и он абсолютно доверял ее словам, содержащим град комплиментов, – в то же время его снедало подозрение, что подобные заверения высказывались не ему одному.

– Нельзя ли попросить молока к кофе? – говорит девушка и, кажется, улыбается.

Эдгару так и не удалось окончательно все выяснить. Он не поймал подругу ни на кокетничаньи, ни на неверности, но исходя из того, что ее чары оказывали на него столь магическое воздействие, рассуждал Эдгар, в принципе они должны были оказывать подобное же воздействие и на других. И мысль, что она, тот человек, то существо, которое сумело дать ему почувствовать себя неповторимым и единственным, может быть, впервые в жизни, все же существует

не для него одного, стала каплей, переполнившей чашу. Его переклинило от мысли, что зацепив таким особенным образом его, она может таким же образом зацепить и других. В Эдгаре, рассказывал он сам, проявились все самые неприглядные черты его характера, стяжательство, своекорыстие, и принялись неуклонно разрастаться, как сорняки, как пырей с его длинными ползучими стеблями, проникающими глубоко в землю. Он относился к ней как торгаш к своей кубышке, сказал он. Как капиталист. Скряга. Я эту девушку ни разу не видел, но в голове у меня сложился ее образ – за те долгие часы, когда я выслушивал сетования Эдгара, – и вот этот образ материализовался в той юной даме, что сидит передо мной в «Хиллс», купаясь в утреннем свете. Такой я ее себе и представлял. Генератором ревности. Девушка смотрит на меня, и я понимаю, что она недоумевает, почему же кофе до сих пор не подан, потому что она протягивает мне меню и просит принести смесь для завтрака с падевым медом и с йогуртом из козьего молока.

– Ну и кофе, конечно.

Расправив плечи, я спешу на кухню. Это можно назвать чудаковатостью, но именно так я и поступаю: поспешным шагом пересекаю зал. Торопливо минуя вертящиеся двери, выскакиваю на кухню, цепляю один из кофейников и тотчас же спешу назад с кофейником в одной руке и маленьким стальным молочничком в другой. Молочник такой крохотный, что ручку приходится зажимать между большим и указательным пальцами. Я подлетаю к юной даме и наливаю ей кофе. Затем я едва заметно приподнимаю молочник и одновременно взглядываю на девушку, чуть выгнув брови, что замыслено в качестве подобия вопроса: мол, не подлить ли вам в кофе капельку молока?

– Да, пожалуйста, – отвечает она на этот «жестовый» вопрос, и я добавляю то количество молока, которое иначе как капелькой не назвать. Я вопросительно взглядываю на нее, и она говорит «еще чуть-чуть», и я, наклонившись с прямой спиной и отставив в сторону мизинец из-за того, что ручка столь мизерна, подливаю еще капельку.

– Минутку, я принесу сегодняшние газеты, – говорю я, но она останавливает меня, сказав, что в этом нет необходимости. Газет не надо? Вот как. Что за личность перед нами?

– Прекрасно, – говорю я.

Ага, значит, утренние газеты нас не интересуют. Некая мысль брезжит на краю сознания. Подчас мысль о том, что старая добрая Европа сохраняется в законсервированном виде у нас в «Хиллс», делает меня слепым к новым веяниям, но я тем не менее ошеломлен нежеланием девушки поддержать традицию и за кофе пошелестеть страницами полноформатной газеты на утреннем солнышке. Что значит «в этом нет необходимости»? Я, конечно, заметил, что газеты на бумаге все чаще и чаще подменяются у нас другими носителями, даже и в утренние часы. Я не говорю, что выудить какой-нибудь гаджет и тыкать в него, вместо того чтобы шуршать газетными страницами, это предательство; я только хочу сказать, что от моего внимания это не ускользнет. Но оказывается, юная дама вовсе не собиралась выуживать никакого высокотехнологического устройства. Она сидит как на выставке и потягивает свой кофе, неторопливыми движениями поднимая и опуская чашку, вот и все.

Расхаживая по залу и стряхивая крошки со столиков, я краем глаза слежу, чем занимается девушка, или, вернее, чем она не занимается. Она продолжает попивать кофе, больше ничего достойного внимания не происходит. Вообще-то больше всего мне нравится стряхивать крошки со скатертей щеткой для уборки крошек. У нас в ресторане есть и щетки, и так называемые лопаточки для уборки крошек, я предпочитаю щетки. Я ловко стряхиваю крошки на совочек, подведя его под край стола. Вешаю щетку на место и снова подхожу к юной даме. Заметьте, с почтенной *New York Times* в руках, а не с газетой из нервной старушки Европы; однако как ни странно, именно эта газета хранит дух старой Европы, прежнего миропорядка или чего-то в этом роде. От нее ощутимо веет ароматом 20-го века. Я протягиваю девушке свежий, поскрипывающий экземпляр.

– Ну зачем же, – говорит она.

– Благодарю, – говорю я.

И чего ради я навязываю клиентке газеты? Что еще за «благодарю»? Я возвращаю на место извечную *New York Times*, снова хватаюсь за щетку и принимаюсь с привычной сноровкой сметать крошки с льняных скатертей. Прохожусь щеткой даже по тем двум столикам, которые я отряхнул вот только что, сам себе вдвое увеличиваю трудовую повинность.

– Можно вас, – говорит девушка, показывая, что желает расплатиться. Я тотчас же приношу ей счет. Пока она достает наличные из сумочки, в которой царит подобающий беспорядок, я вскользь замечаю, что день, похоже, выдался чудесный.

– Ммм, – говорит девушка.

Она встает, и сразу обращаешь внимание, как она чудовищно пропорционально сложена. Симметрична. Я это видел, увидел вчера еще, но не осознал до конца. Теперь осознаю. За два столика отсюда сидит клиент, угнездившийся в возрасте между сорока и пятьюдесятью годами; он не в состоянии совладать со своими глазами яблоками, когда она выпрямляется и потягивается, да-да, она потягивается и потом уже набрасывает на плечи осенний жакет, легкий такой жакет, вязанный. Крючком? На спицах? Не на толстых ли спицах? Домашняя это вязка или машинная? Экологичная, долгополая, связанная вручную кофта, закамуфлированная под жакет? Из уютной ангоры? Глазные яблоки мужчины в двух столиках отсюда живут своей отдельной жизнью, это совершенно очевидно. Надо сказать, довольно интересно наблюдать за человеком, потерявшим контроль над собственными глазами яблоками. Сколько сил кроется в глазных яблоках? С другой стороны, мне бы за своими глазами следить, а не за чужими. Мои глазные яблоки, равно как и его, вращаются по собственной воле. Разница в том, что мои яблоки на какие-то мельчайшие доли секунды обращаются к его яблокам, словно желая получить подтверждение того, что он (его яблоки) видит то же, что вижу я (мои яблоки). Глазные яблоки этого мужчины вступили в схватку с волей этого мужчины, пытающегося подчинить их движения себе, но яблоки словно два совенка поворачиваются в сторону девушки, которая стоит возле столика, потягивается и натягивает на себя слегка длинноватый вязанный крючком жакет, или как там называется жакет, если он такой длинный. И идет к выходу. По мере ее движения в сторону двери воздух следует за ней, покидая зал и восстанавливая отчасти некий человеческий вакуум. Элегантным, может быть даже объективирующим себя шагом, она минует суконные портьеры и исчезает за ними. Она вновь возникает в проемах арочных окон ресторана, нижняя часть которых прикрыта кружевными занавесками на латунных штангах. Снова пропадает, скрываясь за простенком, появляется в следующем окне, пропадает за простенком, и так продолжается, пока не заканчивается весь ряд окон: то она есть, то нет ее, как в кадрах диафильма.

– Как и все рабы, девушки считают, что все за ними только и наблюдают, хотя на самом деле это вовсе не так, – бормочет мужчина с глазами яблоками, поглядывая на меня. Что он хочет этим сказать? Присмотрел бы лучше за своими глазами, а то они того гляди выкатятся из черепушки. Ага, за своим столиком появился обвиняемый в мошенничестве актер. И тут же старик Юхансен на антресолях ударил по клавишам; на сей раз это Бах, он выбрал Гольдбергову вариацию № 5, с ускорением темпа. Эти мелкие события возвещают, что времени ровно десять утра.

– Я бы водочки выпил, – говорит актер.

– Вам подать «Бельведер», – спрашиваю я, – или «Рейку»? – Это исландская водка, и я знаю, что время от времени он ее пьет.

Актер пыхтит как кит, кажется, что сама жизнь улечивается из его тела. Потом он со свистом втягивает воздух через нос, выпускает его и бормочет «Бельведер» таким густым и хриплым голосом, что исходит он, кажется, из самых крошечных глубин ада. Я задерживаюсь на пару слов у стойки Шеф-бара; если меня тянет на разговоры, то болтаю я с ней. Она

рассказывает, что вчера среди бела дня у нее в машине совершенно некстати полетел ремень ГРМ, и еще что руандийская народность тва, как ни странно, гончары, делают керамику, это совершенно не свойственно пигмейским племенам; как правило, пигмеи выменивают для себя сельскохозяйственную продукцию, металлические изделия и керамику на мясо. Не извольте сомневаться, Шеф-бар уже сумела где-то раздобыть прелестный керамический горшочек тва.

– Послушай, а эта девушка, она кто? – невпопад спрашиваю я.

– Насильник, – отвечает Шеф-бар загадочно (как это часто с ней бывает, если она не находится с ответом), – вступает в схватку не с мужчиной, не с женщиной, а с сексуальностью как таковой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.